

Н.Г. Долинина

#### 4. Но я плоды моих мечтаний И гармонических затей Читаю только старой няне, Подруге юности моей...

Четвертая песнь называется в пушкинском плане «Деревня». Но ведь о деревне рассказано и во второй, и в третьей главах, названных «Поэт» и «Барышня». Во второй главе самым важным для Пушкина лицом был Ленский, в третьей — Татьяна, отсюда и название этих глав. В четвертой главе, как и в первой, на первом плане — Онегин, его жизнь в деревне. И снова, как в первой главе, рядом с героем открыто стоит автор.

Эпиграф к четвертой главе заставляет задуматься. «Нравственность — в природе вещей». *Неккер*. Кто такой Неккер и почему его цитирует Пушкин? С одной стороны, это один из крупнейших французских банкиров, и может показаться странным, почему Пушкину понадобилось именно у банкира заимствовать суждение о нравственности. С другой стороны, Неккер — умный и образованный человек, один из французских просветителей, друг Вольтера и отец умнейшей женщины-писательницы мадам де Сталь — цитата, кстати, взята Пушкиным из ее книги о французской революции.

Так что же Пушкин хотел сказать своим эпиграфом? Здесь возможно множество толкований: может быть, эпиграф о нравственности полон иронии, а может, наоборот, предпослан четвертой главе вполне серьезно. Бесспорно только одно: в этой главе для Пушкина особенно важны проблемы нравственные.

Беда многих великих произведений литературы в том, что их невольно растаскивают по кусочкам, часто при этом забывая общий смысл произведения в целом. Мы повторяем чеховскую фразу: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», даже не помня, откуда она, но, по крайней мере, Чехов действительно так думал, он солидарен со своим героем доктором Астровым, произносящим эти слова. С Пушкиным часто получается хуже. Слова и мысли Онегина, вырванные из контекста романа, приобретают чуждый, даже ненавистный Пушкину смысл, а мы приписываем ему эти слова. Вспомните хотя бы строчку, о которой мы уже говорили: «Друзья и дружба надоели»!

Так происходит и с началом четвертой главы. Пушкин все еще испытывает терпение читателя, откладывает объяснение Татьяны с Онегиным и на протяжении пяти строф рассказывает о взглядах и чувствах Евгения.

Чем меньше женщину мы любим,  
Тем легче нравимся мы ей  
И тем ее вернее губим  
Средь обольстительных сетей.

Кто это написал? Пушкин! Выходит, он так считает? Значит, он исповедует философию такого игрока в любовь... А ведь Пушкин дальше пишет совсем другое. Он прямо называет игру в любовь развратом и осуждает ее:

Но эта важная забава  
Достойна старых обезьян  
Хваленых дедовских времян...

Кстати, Пушкин думал об этих проблемах задолго до работы над четвертой главой и еще в 1822 году почти в тех же словах писал брату:

«Чем меньше любишь женщину, тем верней овладеваешь ею. Но это удовольствие достойно старой обезьяны 18-го столетия».

Игра в любовь тем и страшна, что она опустошает душу:

Кому не скучно лицемерить,  
Различно повторять одно,  
Стараться важно в том уверить,  
В чем все уверены давно...  
...  
Кого не утомят угрозы,  
Моления, клятвы, мнимый страх,  
Записки на шести листах...

Все эти атрибуты любви имеют бесценное значение, когда за ними — действительно любовь, настоящее чувство. Когда же они — только внешние проявления чувства, которого на самом деле нет, когда «моления, клятвы... записки» возникают просто по условиям игры, — тогда они, во-первых, безнравственны, а во-вторых, не могут не наскучить.

Это — мысли Онегина. Но в данном случае они совпадают с мыслями Пушкина:

Так точно думал мой Евгений...

Здесь, в начале четвертой главы, Пушкин опять возвращается к петербургской жизни Онегина. То, что произойдет сейчас между Евгением и Татьяной, не случайно, а подготовлено всей предыдущей жизнью Онегина. Когда-то в юности, едва вступив в свет, Евгений был искренен, знал подлинные чувства:

Он в первой юности своей  
Был жертвой бурных заблуждений  
И необузданных страстей.

Но годы, прожитые в фальшивом мире, не прошли даром. «Роптанье вечное души» сменилось равнодушием и к людям, и к чувствам:

В красавиц он уж не влюблялся,  
А волочился как-нибудь;  
Откажут — мигом утешался;  
Изменят — рад был отдохнуть.

Искренние увлечения сменились игрой; надежды и мечты молодости показались наивными, несбыточными; пришло неверие, а с ним — безразличие к жизни:

Так точно равнодушный гость  
На *вист* вечерний приезжает,  
Садится; кончилась игра:  
Он уезжает со двора,  
Спокойно дома засыпает  
И сам не знает поутру,  
Куда поедет ввечеру.

Жизнь — вист, карточная игра; ведется она, чтобы занять время — и только, чтобы как-то протянуть дни, «зевоту подавляя смехом»; и так Онегин прожил лучшие годы: с шестнадцати до двадцати четырех лет.

Вот как убил он восемь лет,  
Утрата жизни лучший цвет.

Убил! Это не случайное слово — у Пушкина не бывает случайных слов. Конечно, после таких восьми лет Евгений не подготовлен к настоящему чувству, не умеет предаться ему. Этим и объясняется его трагическое непонимание Татьяны. Ведь

... получив посланье Тани,  
Онегин живо тронут был...  
...  
И в сладостный, безгрешный сон  
Душою погрузился он.  
Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;  
Но...

Но... Что же помешало Онегину отдаться чувству? Почему он отодвигает, стряхивает с себя «сладостный, безгрешный сон»? Да потому, что сам себе не верит, потому, что, убивая восемь лет жизни, он и сам не заметил, как убил в себе высокое и оставил только низменное, а теперь, когда это высокое готово воскреснуть, — он испугался. Испугался волнений любви, потрясений, страданий, и даже слишком больших радостей испугался — предпочел холодный покой... Разумеется, себе самому он не хочет признаться в этом и объясняет свои поступки для самого себя заботой о юной, неопытной, искренней Татьяне:

Но обмануть он не хотел  
Доверчивость души невинной.

Проповедь Онегина, на первый взгляд, очень благородна. Будь на его месте обычный светский денди, он не преминул бы именно «обмануть... доверчивость души невинной», развлечься в деревенской глуши с наивной сельской барышней — и, ставшись с ней, едва она ему надоест, обречь ее на мученья и беду... Онегин не сделал этого — но ведь он не обычный светский денди! Он — как-никак — добрый приятель Пушкина. Он знает цену свету и его «важным забавам», сам Пушкин любит в нем «мечтам невольную преданность» — и вот эти мечты готовы осуществиться: прекрасная, гордая, душевно богатая, возвышенная девушка предлагает ему свою любовь, а он бежит от нее, бежит от своей мечты. Во имя чего?

Когда бы жизнь домашним кругом  
Я ограничить захотел...

...  
То верно б кроме вас одной  
Невесты не искал иной...

...  
Но я не создан для блаженства;  
Ему чужда душа моя...

Это неправда! Как может человек говорить о себе: «я не создан для блаженства»?! Все люди созданы для счастья, но не все умеют быть счастливыми, — вот Онегин не умеет, боится. Он проговаривается:

Скажу без блесков мадригальных:  
Нашед мой прежний идеал,  
Я верно б вас одну избрал  
В подруги дней моих печальных...

Значит, такая девушка, как Татьяна, была когда-то идеалом Онегина! Но идеал этот — «прежний». Онегин больше не верит в него; поздно, как ему кажется, встретил он Татьяну... Ненавидя и презирая свет, он тем не менее заражен его взглядами, его пред-  
рассудками:

Я, сколько ни любил бы вас,  
Привыкнув, разлюблю тотчас;  
Начнете плакать: ваши слезы  
Не тронут сердца моего,  
А будут лишь бесить его...

Почему Онегин так уверен, что иного «семейного счастья» быть не может? Потому что слишком много подобных примеров он видел в свете:

Что может быть на свете хуже  
Семьи, где бедная жена  
Грустит о недостойном муже  
И днем и вечером одна;  
Где скучный муж, ей цену зная  
(Судьбу однако ж проклиная),

Всегда нахмурен, молчалив,  
Сердит и холодно-ревнив!

Когда-то, в ранней юности, Онегин верил, вероятно, в возможность высокой любви на всю жизнь. Но свет убил эту веру — и даже надежду на ее возвращение:

Мечтам и годам нет возврата;  
Не обновлю души моей...

Вот она — главная трагедия Онегина: «не обновлю души моей»! Конечно, с его точки зрения, он прав, он поступает благородно: не веря в возможность любви, отказывается от нее, да еще и попутно воспитывает наивную Татьяну:

Учитесь властвовать собою;  
Не всякий вас, как я, поймет;  
К беде неопытность ведет.

В том-то и трагизм этого мучительного для обоих разговора, что к беде поведет не неопытность Татьяны, а опытность Онегина! Думая, что оберегает Татьяну, Онегин сам, своими руками, убивает свое будущее счастье, как убил восемь лет жизни, свои мечты, свои искренние чувства...

Что было делать бедной Татьяне — как могла она не поверить Евгению, как могла не смириться со своей горькой долей? Ведь она совсем не знает Онегина. Может ли ей прийти в голову, что все благородные и, казалось бы, такие искренние слова об отказе от семейного блаженства на самом деле только стремление сохранить покой, уйти от душевных бурь; что на самом деле Онегин глубоко несчастлив от своего неверия, от своей опустошенности...

Вот так встретились в саду два человека, которые могли и должны были полюбить друг друга и быть счастливыми. Встретились — и друг друга не поняли. И разошлись, несчастливые.

«Кто виноват?» Этот роковой вопрос Герцен сделал названием своего романа о человеке, похожем на Онегина. Кто виноват в трагедии людей ярких, благородных, но разочарованных в жизни, никому не верящих, превращающихся в «умные ненужности» и в «лишних людей»?

Едва кончилось объяснение Татьяны с Онегиным в саду, Пушкин обращается к совсем, казалось бы, не связанной с переживаниями героев теме. Целых пять строф (XVIII–XXII) он посвящает дружбе, родственным отношениям, любви — говорит о них как будто от себя, но мы уже знаем: не может Пушкин сказать о своих настоящих друзьях:

Врагов имеет в мире всяк,  
Но от друзей спаси нас, боже!

Речь идет о светских чувствах — тех самых, которые заменили в душе Онегина настоящие и погубили его счастье. Ведь в свете именно так и случается,

Что нет презренной клеветы,  
На чердаке вралем рожденной  
И светской чернью ободренной...

...  
Которой бы ваш друг с улыбкой,  
В кругу порядочных людей,  
Без всякой злобы и затей,

Не повторил стократ ошибкой...

Пушкин имеет в виду конкретный факт: Толстой-Американец, называвший себя его другом, распространял клевету на поэта в то время, как он был в ссылке и не мог ни опровергнуть слухов, ни вызвать Толстого на дуэль... Но сколько таких конкретных фактов можно было найти в мире лицемерия, окружавшем Онегина, — и Пушкина окружавшем тоже...

Любые человеческие отношения оказываются ложью в этом мире:

Родные люди вот какие:  
Мы их обязаны ласкать,  
Любить, душевно уважать...  
О рождестве их навещать...  
...  
Чтоб в остальное время года  
Не думали о нас они...

Вспоминается начало романа: Онегин, едущий к дяде из-за наследства и вздыхающий:  
«Когда же черт возьмет тебя!»

Итак, ни дружбы, ни родства не существует в мире, где живет Онегин.

Зато любовь красавиц нежных  
Надежней дружбы и родства...  
...  
Конечно, так. Но вихорь моды,  
Но своенравие природы,  
Но мненья светского поток...

Вот в чем главная беда: «мненья светского поток» оказывается сильнее любого чувства, даже любви. А поток этот всегда мутен, всегда несет грязь!

Страшный вывод делает Пушкин:

Кого ж любить? Кому же верить?  
Кто не изменит нам один?  
...  
Любите самого себя,  
Достопочтенный мой читатель!

Пушкин, как и Герцен после него, не дает прямого ответа на вопрос: кто виноват? Но всем ходом событий он подсказывает читателю этот ответ: виноват стиль жизни, бездеятельной и лицемерной, бесстрастной и пустой, который убил в Онегине живые чувства; то общество, которое обрекает живущих в нем людей на подобие любви, подобие дружбы, подобие деятельности... Так вот и живет Онегин: много раз обманувшись в людях, он теперь боится и не умеет любить кого-нибудь, кроме самого себя. Но Татьяне от этого не легче!

Увы, Татьяна увядает,  
Бледнеет, гаснет и молчит!  
Ничто ее не занимает, Ее души не шевелит...  
...  
Но полно. Надо мне скорей  
Развеселить воображенье  
Картиной счастливой любви.  
Невольню, милые мои,  
Меня стесняет сожаленье;  
Простите мне: я так люблю  
Татьяну милую мою!

Все, что здесь сказано, — правда. Пушкин любит Татьяну и сочувствует ей — правда. В следующих строфах он «развеселит воображенье» картиной любви Ленского и Ольги — правда. Но только счастливая ли это любовь? Об этом Пушкин предлагает подумать читателю. Проявления любви Ленского он рисует с почти неуловимой, но колкой иронией:

Он вечно с ней. В ее покое  
Они сидят в потемках двое;  
Они в саду, рука с рукой,  
Гуляют утренней порой...  
...  
Он иногда читает Оле

Нравоучительный роман...  
 ...  
 А между тем две, три страницы  
 (Пустые бредни, небылицы,  
 Опасные для сердца дев)  
 Он пропускает, покраснев.  
 Уединясь от всех далеко,  
 Они за шахматной доской...  
 ...  
 Сидят, задумавшись глубоко,  
 И Ленский пешкою ладью  
 Берет в рассеянье свою.  
 Поедет ли домой — и дома  
 Он занят Ольгою своей.  
 Летучие листки альбома  
 Прилежно украшает ей...

Итак, прогулки, чтение нравоучительных романов, игра в шахматы, стихи в альбоме — что ж, все это вполне возможные занятия для влюбленных. Но Пушкин не позволяет читателю отнестись к ним всерьез. Прогулки с Ольгой Пушкин называет «сладостной неволей»; в романах Ленский, оберегая Ольгу, пропускает «опасные» страницы; игра в шахматы нужна только, чтобы посидеть рядом, и, наконец, над альбомом Ольги Пушкин прямо смеется:

Конечно, вы не раз видали  
 Уездной барышни альбом,  
 Что все подружки измарали  
 С конца, с начала и кругом.

Лет десять назад альбомы такого типа и с теми же «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня» еще можно было встретить — и не так уж редко — у наших современных девочек. Сейчас альбомы вывелись, их заменили тетрадки со стихами; часто в таких тетрадках записываются действительно прекрасные стихи Блока, Есенина, Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, но ведь и то, над чем смеялся Пушкин, осталось! Остались сделанные «назло правописанью» записи стихов «без меры», они бывают «уменьшены, продолжены», как у Ольги Лариной!

Надо сказать, что как бы мы ни смеялись вместе с Пушкиным над глупенькими провинциальными барышнями, мы в то же время должны быть им благодарны. Ведь их альбомы сохранили для нас бесценные сокровища: стихи Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Языкова и многих, многих великолепных поэтов. Сколько пушкинских стихов осталось в альбомах барышень из Тригорского! И сам Пушкин, вдоволь насмеявшись, все-таки признается:

В такой альбом, мои друзья,  
 Признаться, рад писать и я,  
 Уверен будучи душою,  
 Что всякий мой усердный вздор  
 Заслужит благосклонный взор...

Эти смешные, наивные, но искренние альбомы Пушкин предпочитает «разрозненным томам из библиотеки чертей» — великолепным альбомам петербургских дам, где оставили свои стихи и рисунки лучшие люди эпохи, но где нет искренности, все дышит фальшью; Пушкин с ненавистью пишет о них:

И дрожь и злость меня берет,  
 И шевелится эпиграмма  
 Во глубине моей души,  
 А мадригалы им пиши!

Мадригал — хвалебное, воспевающее кого-нибудь стихотворение. Пушкин не хочет обидеть Ленского: молодой поэт искренен, он «не мадригалы... пишет в альбоме Ольги...»

Его перо любовью дышит,  
Не хладно блещет остротой...

Мы совсем уже готовы после таких строк поверить любви Ленского, как вдруг одна строчка снова настораживает нас:

Так ты, Языков вдохновенный,  
В порывах сердца своего,  
Поешь бог ведает кого...

Значит, и Ольга — «бог ведает кто»?! Значит, она — вовсе не тот идеал, который видит в ней Ленский?!

Вот так, неназойливо, едва заметно, Пушкин подсказывает читателю: не верь глубине любви Ленского, нет там глубины... Более того, он сам все время отвлекается от этой «картины счастливой любви»: начал рассказывать о Ленском и Ольге в строфах XXV–XXVII и тут же отвлекся воспоминаниями об альбомах (строфы XXVIII–XXX), вернулся к Ленскому в строфе XXXI — и снова забыл о нем, вспомнил Языкова, элегии, которые тот пишет, вспомнил бурный литературный спор с «критиком строгим» — другом своим Кюхельбекером.

Из десяти строф, казалось бы, посвященных любви Ленского и Ольги, на самом деле о них говорится только в пяти, да и то с легкой насмешкой. Незаметно, но настойчиво Пушкин подготавливает читателя к тому, что произойдет с героями дальше: к крушению их любви, такой возвышенной, но такой непрочной.

Совсем иначе, подчеркнуто просто, невесело, хотя, как всегда, шутливо рассказывает Пушкин о своей деревенской жизни и работе:

Но я плоды моих мечтаний  
И гармонических затей  
Читаю только старой няне,  
Подруге юности моей,  
Да после скучного обеда  
Ко мне забредшего соседа,  
Поймав неожиданно за полу,  
Душу трагедией в углу.  
Или (но это кроме шуток),  
Тоской и рифмами томим,  
Бродя над озером моим,  
Пугаю стадо диких уток:  
Вняв пенью сладкозвучных строф,  
Они слетают с берегов.

Там, в Михайловском, и сейчас сидят на пологом берегу озера такие же утки, и так же слетают они с берегов, услышав голос человека...

Горько и трудно, одиноко живется Пушкину в ссылке. Но он не любит и не хочет долго жаловаться на свою жизнь. Одна строфа — читателю-другу она откроет многое, а с равнодушным и незачем делиться. Поэтому, не рассказывая больше о себе, Пушкин переходит к Онегину:

А что ж Онегин? Кстати, братья!  
Терпенья вашего прошу:  
Его вседневные занятия  
Я вам подробно опишу.

Как только не обращался Пушкин к читателям! «Друзья Людмилы и Руслана», «милые друзья», «друзи», «читатель благородный», «достопочтенный мой читатель», «друзья мои», «милые мои»...

Когда Пушкин пишет о свете, его законах, его морали, он и читателя видит перед собой нелюбимого, и обращается к нему с иронией: «достопочтенный», «читатель благородный»... Там же, где он пишет всерьез, где открывает свое, глубокое и возвышенное, понимание жизни, там и читатели для него — друзья, милые, други и, наконец, братья! А в седьмой главе мы прочтем: «Ах, братцы, как я был доволен...»

Так «что ж Онегин»? Его «вседневные занятия» очень напоминают жизнь самого поэта в Михайловском: Пушкин тоже вставал летом рано, «отправлялся налегке к бегущей под горой реке», переплывал ее, потом завтракал... Пушкин подшучивает над Онегиным:

Певцу Гюльнары подражая,  
Сей Геллеспонт переплывал...

Известно, что Байрон (в его поэме «Корсар» героиню зовут Гюльнара), несмотря на свою хромоту, отлично плавал и даже переплыл один раз Дарданельский пролив, который в древности называли Геллеспонт. Конечно, небольшая русская речка возле поместья Онегина не Геллеспонт, но она похожа на Сороть, которую переплывал по утрам Пушкин.

В рукописи сохранилась строфа, не включенная Пушкиным в окончательный текст, где описана одежда Онегина, тоже очень напоминавшая одежду самого Пушкина в Михайловском:

Носил он русскую рубашку,  
Платок шелковый кушаком,  
Армяк татарский нараспашку  
И шляпу с кровлею, как дом  
Подвижный. Сим убором чудным  
*Безнравственным и безрассудным*  
Была весьма огорчена  
Псковская дама Дурина...

Это одеяние и особенно восприятие его «псковскими дамами» очень напоминает и ту одежду, в которой Пушкин бродил по ярмарке, собирая народные песни, и возмущение псковского дворянства «безнравственным и безрассудным» поведением поэта.

Мы снова видим, как много общего у Пушкина и его героя. Чем же занят Онегин в деревне?

Прогулки, чтение, сон глубокий,  
Лесная тень, журчанье струй,  
Порой белянки черноокой  
Младой и свежий поцелуй,  
Узде послушный конь ретивый,  
Обед довольно прихотливый,  
Бутылка светлого вина,  
Уединенье, тишина...

Все это было и в жизни Пушкина. Но в ней было и то, чего лишен Онегин: труд, творчество. В этом огромная разница между поэтом и героем, между богатой, возвышенной, значительной жизнью — и бедной, тягостной, пустой...

Знаменитое, с детства каждому знакомое отступление об осени и приближающейся зиме печатается в детских книжках и хрестоматиях с сокращениями. А ведь у Пушкина важны каждая строчка, каждое слово! Вот мы видели, как живет Онегин летом, и даже позавидовали: «прогулки, чтение, сон... обед довольно прихотливый... уединенье»...

Но наше северное лето,  
Карикатура южных зим,  
Мелькнет и нет...

Как точно сказано: «карикатура южных зим!» Всем, кто проводил летние месяцы в Прибалтике, под Ленинградом, на Псковщине, знакома и понятна эта пушкинская формула. Лето быстро кончается, приближается зима.



Уж небо осенью дышало,  
Уж реже солнышко блистало,  
Короче становился день...

Мы привыкли повторять: Пушкин — реалист, и не всегда задумываемся, что это, собственно, значит. А вот вспомните начало стихотворения «Осень»:

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает  
Последние листы с нагих своих ветвей;  
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает —  
Журча еще бежит за мельницу ручей,  
Но пруд уже застыл...

Это не сентябрь, и не начало октября, это именно середина октября по нашему календарю, а для пушкинской эпохи — начало октября: отсюда и слова «уж наступил». И приметы природы не просто осенние, а рисуют ту пору, когда осень переходит к зиме: облетают последние листья, дорога промерзла, и далеко слышны шаги человека или топот коня, стоячая вода в пруде замерзла, а бегущая в ручье еще не застыла... Это — пушкинская точность и пушкинская краткость описаний, пушкинский реализм. И он же — в осенней картине, о которой мы говорим:

Короче становился день,  
Лесов таинственная сень  
С печальным шумом обнажалась,  
Ложился на поля туман,  
Гусей крикливых караван  
Тянулся к югу...

Печальный шум падающих листьев и крик гусей — это именно конец октября, начало ноября. С такой же предельной точностью рисует Пушкин и наступление зимы:

Встает заря во мгле холодной;  
На нивах шум работ умолк...

Уже наступили темные зимние вечера, и уже «в избушке, распевая, дева прядет, и, зимних друг ночей, трещит лучинка перед ней».

Пришла зима. «Мелькает, вьется первый снег». И сразу нас покидает то легкое чувство зависти, которое мы все-таки испытывали к Онегину летом.

В глуши что делать в эту пору?  
Гулять? Деревня той порой  
Невольно докучает взору  
Однообразной наготой.  
Скакать верхом в степи суровой?  
Но конь, притупленной подковой  
Неверный зацепляя лед,  
Того и жди, что упадет.  
Сиди под кровлею пустынной,  
Читай: вот Прадт, вот Walter Scott,  
Не хочешь? — поверяй расход,  
Сердись иль пей, и вечер длинный  
Кой-как пройдет, а завтра то ж,  
И славно зиму проведешь.

Не позавидуешь зимней жизни Онегина:

Один, в расчеты погруженный,  
Тупым кием вооруженный,  
Он на бильярде в два шара  
Играет с самого утра.

Одна радость — ждать, когда кто-нибудь придет, хоть кто-нибудь... Выбирать друзей, даже собеседников, Онегин не может: рядом с ним только один не отвратительный ему человек — Ленский. Вот он и ждет Ленского к обеду — больше некого ждать.

В четвертой главе, как мы уже видели, Пушкин почти не уходит со страниц романа: он начинает главу своими мыслями о «важной забаве... старых обезьян хваленых дедовских времен», он сам, от своего имени, подводит итог петербургской жизни Онегина, присутствует при его объяснении с Татьяной, с гневом рассказывает о светской дружбе, любви; он сочувствует горю Татьяны, смеется над альбомами сельских барышень, спорит с Кюхельбекером, страдает от вынужденного одиночества в Михайловском, а теперь рассказывает читателю о своих любимых винах, о том, как в молодости пил крепкое шампанское Аи, теперь же предпочитает более легкое красное вино Бордо...

Онегин и Ленский беседуют после обеда возле теплого камина, за бутылкой вина:

«Ну, что соседки? Что Татьяна?  
Что Ольга резвая твоя?»  
— Налей еще мне полстакана...  
Довольно, милый... Вся семья  
Здорова; кланяться велели...

Разговор неспешный, ленивый, не увлекающий собеседников — в сущности, говорить им не о чем: все уже много раз обсуждено, теперь осталось перебрасываться неторопливыми словами, и важнее попросить еще вина, чем ответить на вопрос, заданный скорее из вежливости, чем из настоящего интереса... А любовь Ленского, эту возвышенную любовь Пушкин убивает одной фразой:

Ах, милый, как похорошели  
У Ольги плечи, что за грудь!  
Что за душа!..

Ленский же романтик, идеалист, — а душа Ольги, оказывается, стоит для него в одном ряду с прочими прелестями!

Ленский зовет Онегина на именины Татьяны и уверяет, что там не будет никакого «сброда», только «своя семья». Легкий, пустой, незначительный разговор, легкий обман: конечно, Ленский понимает, что на именины непременно съедется вся округа, но ему хочется развлечь Онегина, сделать приятное Лариным — он от чистого сердца немножко обманывает друга и не придает этому обману никакого значения. А между тем с этих случайно брошенных слов: «И, никого, уверен я!» — начнется конфликт, который приведет, в конце концов, к гибели Ленского, к трагедии Онегина, к несчастью Татьяны...

Над Ленским нависает беда. И мы чувствуем эту беду, хотя сам он счастлив. Чувствуем потому, что Пушкин подготавливает нас к ней. Он называет Ленского «бедным» — в первый раз. Он сомневается в счастье поэта:

Он был любим... по крайней мере,  
Так думал он, и был счастлив.  
Стократ блажен, кто предан вере,  
Кто, хладный ум угомонив,  
Покоится в сердечной неге,  
Как пьяный путник на ночлеге,  
Или, нежней, как мотылек,  
В весенний впившийся цветок..

Пушкин сравнивает Ленского сначала с пьяным, а затем... с мотыльком! Эти странные, на первый взгляд, сравнения заставляют читателя задуматься. «Стократ блажен, кто предан вере», — с этим хочется согласиться, особенно после того, как мы поняли, что причина несчастья Онегина — именно его неверие в счастье. А все-таки почему же Ленский похож на «пьяного путника» — не потому ли, что жизнь предстает перед ним

---

в тумане, что его вера, как и безверие Онегина, основана, в сущности, на непонимании жизни и людей?

Задумавшись над отношением Пушкина к будущему Ленского, читатель непременно ощутит беспокойство за эту судьбу — так Пушкин заранее подготавливает будущую трагическую, но неизбежную развязку.

Конец четвертой главы возвращает нас к Онегину:

Но жалок тот, кто все предвидит,  
Чья не кружится голова,  
Кто все движенья, все слова  
В их переводе ненавидит,  
Чье сердце опыт остудил  
И забываться запретил!

И наивная вера Ленского, и холодная «опытность» Онегина влекут за собой несчастье.

Пушкин умеет, как и Онегин, «все предвидеть», но его правда состоит в том, чтобы, зная жизнь и людей, все-таки не давать своему сердцу остыть, все-таки радоваться, и любить, и «забываться»...